Комнаты внутри нас

Комната усталости

Когда для себя
не остаётся места



Шокун Алексей
Владимирович

Шокун Алексей

Комната усталости. Когда для себя не остаётся места

https://litres.ru/74717328
SelfPub; 2026

Аннотация

Будильник звонит раньше нужного. Кофе остывает. Телефон не выключается, а в календаре нет времени для себя. Двенадцать историй «Комнаты усталости» — о людях, которые продолжают работать, заботиться и выполнять обещания, уже почти не замечая, насколько истощены. В старом доме есть комната с четырьмя стульями, но все заняты чужими вещами. Смотритель освобождает одно место и оставляет на нём фонарь. Здесь никто не бросает работу и не начинает идеальную жизнь. Меняется лишь маленькая деталь. Это бережная проза о бесконечном «надо» и двадцати минутах, которые наконец могут принадлежать самому человеку.

На отдельных этапах подготовки издания применялись интеллектуальные цифровые инструменты.

Содержание

Об этой книге	4
Как читать	7
Пролог	8
Будильник, который звонил раньше	10
Кофе, который остыл	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Шокун Алексей
Комната усталости. Когда для себя не остаётся места

Серия «Комнаты Внутри Нас»
Шокун Алексей Владимирович

Об этой книге

Это художественная проза. Истории в этой книге не заменяют помощь врача или психотерапевта, не описывают диагнозов, не дают назначений и не обещают, что после них что-то пройдёт.

Если вы узнали себя в одной из историй — это не диагноз. Узнавание не доказывает ничего, кроме того, что вы человек и с вами бывает то же, что с другими людьми.

Если сейчас с вами происходит что-то, с чем трудно оставаться одному, — это не тот случай, когда нужна книга. Позвоните тому, кто может помочь: врачу, психотерапевту, близкому человеку. В тяжёлом состоянии читать про чужую усталость бесполезно и иногда вредно.

Всё, что здесь есть, — двенадцать историй про людей, которые давно ничего не чувствуют, кроме того, что надо ещё

немного потерпеть.

Ни один из них не начинает отдыхать как следует и никто не бросает работу. У всех в конце остаётся то же, с чем они начали, — меняется только то, что они об этом знают.

Это пятая книга серии. В первой был страх, во второй — злость, в четвёртой — вина. Здесь — усталость, и она устроена иначе, чем предыдущие четыре.

Страх, злость и вина громкие. Они приходят с сердцебиением, с криком, с желанием исчезнуть. Усталость не приходит. Она есть, как есть обои в комнате, и через год вы перестаёте их видеть.

Поэтому эту книгу труднее узнать. В ней никто не плачет навзрыд и не хлопает дверью. Люди в ней делают то, что делали вчера, и не могут вспомнить, что делали в прошлый вторник.

Двенадцать историй — это двенадцать человек, которые заходят в одну и ту же комнату и не сразу понимают, что им некуда сесть.

У каждого из них есть предмет, по которому видно, как он живёт.

Будильник, который звонит раньше, чем нужно. Чашка, в которой остывает кофе. Отпуск, которого не было. Список на сорок восемь пунктов, где нет ни одного пункта про себя.

Телефон, который не выключают. Кресло, на котором лежат чужие вещи. Билет, который остался в кошельке. Ночник.

Календарь, в котором обведены чужие даты. Сумка, в которой ничего нет.

Предметы не символичны. Это не метафоры, которые надо разгадать. Это вещи, которые действительно стоят, висят и лежат в квартирах, и по ним можно понять про человека больше, чем он сам про себя расскажет.

В каждой истории меняется одна деталь. Не характер, не судьба, не отношение к жизни — одна деталь: будильник переставляют на шесть, в календаре обводят своё число, сумку убирают на верхнюю полку. Всё остальное остаётся как было.

Этого мало. Именно поэтому это правда.

Двенадцать — не круглое число и не красивое. В этой комнате двенадцать человек, и каждого можно было бы описать иначе, и получилось бы то же самое.

Ни один из них не назван больным. Ни один не получает совета. Ни один не произносит вслух слово, которым его можно было бы обозначить, и это сделано нарочно: как только человек назван, дальше уже не он, а название.

Если вам покажется, что какая-то история списана с вас, — это не потому, что автор вас знает. Это потому, что усталость у людей одинаковая: она складывается из одних и тех же двадцати минут, которых не нашлось.

Как читать

Одну историю за вечер. Больше не надо: истории короткие, но они не для того, чтобы их проглатывали.

Порядок соблюдать не обязательно. Но если день был тяжёлый, не читайте подряд шестую и девятую — они самые тёмные. Между ними лучше сделать перерыв или перейти сразу к двенадцатой.

Истории не нужно понимать. В них нет скрытого смысла, который вы обязаны найти. Если после истории ничего не произошло — это нормальный результат: так бывает чаще всего.

Если история задела, закройте книгу. Не надо разбираться сегодня. Не надо ничего вспоминать специально — если вспомнится, оно вспомнится само, и уже не в книге.

Эту книгу можно читать вслух. Она так и написана — с расчётом на то, что её слышат.

И последнее. Эта книга не про то, как начать отдыхать, и не про то, как правильно распределять время. Она про комнату, в которой негде сесть, и про четыре стула, на которых лежат чужие вещи.

Пролог

В этом доме есть комната, в которой негде сесть.

Дверь у неё обычная, и номер на двери обычный, и никто не помнит, когда в этой комнате в последний раз было иначе.

Стулья в ней есть — четыре штуки, — и ни на один нельзя сесть.

На первом лежит выстиранное бельё, сложенное в четыре раза, но так и не убранное в шкаф. На втором — коробки, одна на другой, и в нижней что-то тяжёлое. На третьем — гладильная доска, сложенная и прислонённая. На четвёртом — пальто, которое сняли и положили, потому что вешать было далеко.

Кровать в этой комнате есть, и она застелена. На кровати можно лежать, но нельзя сидеть: если сесть, видно, что она не убрана как следует.

Окно в комнате одно, и оно закрыто. За ним двор, в котором ничего не происходит, и тополь, который каждый год даёт пух.

Пух оседает на подоконнике, и его вытирают, и на другой день он опять лежит.

Свет в комнате горит. Это ночник, маленький, в форме гриба, и он стоит на подоконнике между чашкой и будильником.

Чашка пустая. Будильник заведён, и стрелки на нём стоят

на шести, хотя в комнате никто не спит.

Часы на стене стоят на сорока минутах пятого. Стрелка не двигается, и по часам не понять, сколько сейчас времени.

От этого в комнате всегда как будто ещё рано или уже поздно.

Смотритель заходит и стоит в дверях.

Он смотрит на стулья, и считает, и снова смотрит.

Он знает, что вещи на этих стульях не его. Он знает, что их нельзя выбросить: за каждую кто-то когда-то отвечал.

Потом он подходит к первому стулу, берёт бельё, кладёт его на пол, аккуратно, чтобы не помялось, и освобождает сиденье.

Снимает с гвоздя фонарь и ставит его на стул.

Фонарь светит вверх, в потолок, и от этого в комнате становится чуть светлее, чем от ночника.

Смотритель выходит и прикрывает дверь.

Стул остаётся свободным. В комнате по-прежнему негде сесть — но одно место теперь есть.

На этом месте можно сидеть двадцать минут. Больше в этой книге ничего не происходит.

Будильник, который звонил раньше

Будильник стоял на пять сорок, и она просыпалась в двадцать минут шестого. Так было не всегда, но так было давно — столько, что она уже не помнила, когда это началось. Она работала в поликлинике на первом этаже, за окном номер три. До этого восемь лет — в аптеке на Кирова, пока аптеку не закрыли; когда закрывали, заведующая сказала: «Иди в поликлинику, там как раз место». Она пошла и осталась.

Тогда ей было тридцать два, и ей казалось, что это временно. Временно длилось пятнадцать лет. Будильник на пять сорок появился в две тысячи одиннадцатом. Дочь пошла в первый класс, и в первый день она поставила его на пять сорок, чтобы успеть собрать и не опоздать.

Опоздали они один раз, в сентябре, из-за того, что не нашлось белых колготок. Больше не опаздывали. Будильник с тех пор не переставляли. Он стоял на тумбочке, серый, с кнопкой сверху, и кнопка была стёрта до белого.

Муж работал водителем на хлебозаводе. Он вставал в шесть, ложился в одиннадцать и за двадцать два года ни разу не повысил голос. Она считала это хорошим браком и иногда говорила об этом вслух. Он соглашался.

Дочь училась в десятом и хотела на дизайн. Об этом в

доме говорили осторожно, потому что на дизайн надо было платить, а платить было не из чего. Мать жила в области, за девяносто километров, в доме с печкой. Она не переезжала и говорила: «Я тут родилась, тут и лягу».

На четвёртом этаже жила баба Нюра, восемьдесят четыре года. С прошлой зимы она не выходила из квартиры: сломала шейку бедра и ходила по комнате, держась за стену. Раз в два дня она поднималась к ней с хлебом и молоком.

Ставила чайник, мыла пол, выносила мусор. Баба Нюра говорила: «Ты не ходи, я не помру». Она говорила: «Я и не хожу». И ходила.

Дочь бабы Нюры жила в Норильске и звонила по воскресеньям. Один раз она сказала в трубку: «Спасибо, что вы там». Это было всё, что она получила за два года.

Ключ от квартиры бабы Нюры лежал у неё в кармане пальто, вместе с ключом от дома и ключом от гаража. Три ключа на одном кольце, и она никогда не думала, какой из них чей. Она лежала в темноте и не вставала. До звонка оставалось двадцать минут, и эти двадцать минут были устроены всегда одинаково.

Сначала она смотрела в потолок. Потолок был белый, с длинной трещиной от угла до люстры, и трещину она знала наизусть, как знают карту.

Потом слушала.

В подъезде гудел лифт — значит, сосед с пятого уже поехал на смену. У соседей за стеной зашумела вода.

Во дворе завели машину, и машина долго не заводилась, и водитель ругался через стекло.

Потом она поворачивалась на бок и смотрела на шкаф. Шкаф был старый, с одной дверцей набок, и дверцу надо было придерживать, когда открываешь. За двадцать минут она успевала подумать про всё: про то, что надо купить масло, про то, что дочь опять не сдала тетрадь по геометрии, про то, что матери в области надо позвонить до обеда, потому что после обеда она спит.

Потом звонил будильник, и она вставала. Она бы не смогла объяснить, зачем они. Она не спала в эти двадцать минут и не отдыхала. Она лежала и думала, и думала она о том же, о чём думала весь день.

Она думала про масло и про тетрадь, и про то, что матери надо позвонить до обеда. И ещё про то, что в четверг надо занести бабе Нюре молоко, а в четверг у неё санитарный день. Эти мысли не были тяжёлыми. Они были мелкие и шли одна за другой, как вагоны, и она их даже не замечала.

Тяжёлая была одна, и она приходила последней, всегда перед звонком: что ничего из этого не кончится. Ни в четверг, ни в мае, ни когда дочь вырастет. Но это было единственное время, когда её никто не звал. Муж спал, дочь спала, на работе ещё никого не было, и телефон лежал экраном вниз.

Никто не мог попросить её встать, найти, подать, напомнить. Телефон лежал экраном вниз, и это было важно. Экраном вниз — значит, никто не пишет. Если бы написали, он

бы засветился, и она бы увидела, и пришлось бы встать.

Она никогда не признавалась себе, что кладёт его так нарочно. Она бы сказала, что это и есть отдых, если бы её спросили. Её не спрашивали.

Она попробовала рассказать про эти двадцать минут один раз.

Было воскресенье, они пили чай, и она сказала:

— Я просыпаюсь за двадцать минут до будильника. И лежу.

Муж сказал:

— И что?

— Ничего. Лежу.

— А, — сказал он. — Ну и лежи.

И потянулся за печеньем. Разговор кончился. Она потом думала, что сказала не то. Надо было сказать, что это единственное время, когда её никто не трогает. Но это звучало как жалоба, а жаловаться было не на что: муж не пил, не бил, деньги приносил, дочь училась.

Жаловаться было не на что, и это было хуже всего. Она как-то посчитала: если двадцать минут каждый день, то за год выходит сто двадцать часов. Пять суток.

Она тогда подумала, что пять суток — это отпуск, и что отпуска у неё не было четыре года. Отпуска не было четыре года, и это была правда, а не преувеличение.

В две тысячи двадцатом не пустили — болела мать.

В двадцать первом она сама попала в больницу с давле-

нием, и вместо отпуска лежала двенадцать дней. В двадцать втором заболела сменщица, и она работала за двоих.

В двадцать третьем она написала заявление и не отдала.

Заявление лежало в сумке, в боковом кармане, сложенное вчетверо. Она его видела каждый раз, когда искала проездной, и каждый раз думала: «Потом».

В пять сорок она вставала и шла на кухню.

Ставила чайник, доставала хлеб, делала бутерброды — мужу с колбасой, дочери с сыром, себе с маслом. Складывала в контейнеры, контейнеры — в сумки. Муж вставал в шесть, брился в ванной, ел стоя и уходил первым.

Он один раз спросил:

— Ты чего в такую рань?

— Будильник.

— Так ставь позже.

— Мне так удобнее.

Он пожал плечами и больше не спрашивал. Он вообще редко спрашивал, и она давно считала это хорошим качеством. Дочь вставала в семь, и её надо было будить три раза, и на третий раз она вставала.

В шесть сорок она выходила. Автобус был всегда один и тот же — седьмой, — и в нём всегда ехали одни и те же люди. Женщина с большой сумкой, которую она ставила в проходе. Двое мужчин в спецовках, которые всю дорогу молчали. Школьник, который спал, прижавшись лбом к стеклу.

Она садилась у окна и смотрела на улицу, и за дорогу успе-

вала задремать два раза, и оба раза просыпалась оттого, что автобус тормозил. Один раз она не проснулась. Автобус остановился на её остановке, постоял и поехал дальше, и она очнулась на кольце, в двух километрах от поликлиники, оттого что водитель выключил двигатель и в салоне стало тихо.

Она вскочила и побежала. Пришла в восемь двадцать, а окно открывалось в восемь, и у окна уже стояли восемь человек, и все восемь смотрели на неё.

Заведующая сказала:

— Ты чего?

— Проспала.

— Ты? — сказала заведующая и посмотрела на неё внимательно. — Ты за пятнадцать лет ни разу.

Она сказала: «Бывает». И села.

Потом весь день у неё дрожали руки, и она не понимала отчего — от бега или оттого, что её заметили.

Женщину с большой сумкой звали Люба, и они здоровались кивком. Один раз Люба села рядом и сказала:

— Вы всегда в одно и то же время.

— Да.

— Я по вам время проверяю.

Она тогда засмеялась, а вечером подумала, что это единственное, по чему её можно проверить. Люба выходила на остановке «Школа» и работала в столовой при ней. Один раз она видела её в окне столовой, в белом халате, и Люба помахала ей рукой.

Они так и не узнали друг друга по имени. Двадцать минут в автобусе, пять лет, кивок.

На работе было окно.

За окном был коридор, в коридоре — очередь, и очередь начиналась с восьми, а заканчивалась, когда заканчивалась. Она выдавала талоны, отвечала на вопросы и говорила в трубку одно и то же, разными словами. В коридоре за её окном висело объявление: «Приём с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:30». Обед она сокращала до двадцати минут, потому что в двенадцать тридцать у окна уже стояли.

Один раз в обед она пошла в кабинет к терапевту — не как пациентка, а спросить за мать, — и терапевт, женщина её возраста, посмотрела на неё и сказала:

— А вы сами когда последний раз были в отпуске?

— В девятнадцатом.

— А сейчас который?

Она сказала: «Двадцать четвёртый». Терапевт ничего не ответила и стала писать. Стул у окна был жёсткий, и к обеду у неё болела спина, и она это замечала только к трём, когда вставала.

Спина болела давно, года три. Она ходила к неврологу, и невролог сказал: «Сидячая работа, надо двигаться». Она сказала: «Я двигаюсь». Он сказал: «Ну, значит, мало».

Она купила себе подушку под поясницу, за четыреста рублей, и подушка не помогала, но она её не выбрасывала, потому что жалко. В апреле спина заболела так, что она не смогла

нагнуться за упавшей ручкой. Ручка лежала на полу, а она стояла над ней и смотрела.

Подняла её женщина из очереди — та, что пришла с ребёнком. Она сказала: «Спасибо». Женщина сказала: «Вы бы сели».

Она сказала: «Мне нельзя сидеть». И обе засмеялись, потому что это было смешно. За день через окно проходило человек сорок, и она помнила не лица, а бумажки. Бумажки были одинаковые, и она складывала их в стопку и скрепляла степлером.

Лица она тоже помнила, но не так, как хотелось бы. Она помнила не людей, а то, что с ними было не так: у одного не было полиса, у другой была чужая карта, у третьего была фамилия, которую она видела вчера в другом кабинете. Один раз пришла женщина и сказала: «Я к вам в прошлый вторник приходила». Она сказала: «Не помню». Женщина обиделась и сказала: «Ну спасибо».

Она потом весь день думала об этой женщине. И не могла вспомнить ни её, ни вторника. Скрепки кончались к четвергу, и она приносила свои.

Сменщица была моложе на двадцать лет, звали её Кристина, и она уходила ровно в пять. Ровно.

В пять ноль одну её уже не было.

Она сначала осуждала: как можно уйти, когда в коридоре ещё люди. Потом привыкла.

Потом стала замечать, что Кристина успевает больше, чем

она.

Один раз Кристина сказала:

— Вы бы тоже уходили.

— Люди стоят.

— Постоят.

Она сказала: «Не могу». Кристина пожала плечами и ушла в пять ноль одну. И это «не могу» она потом вспоминала часто, потому что не могла объяснить, в чём именно.

В обед она выходила в коридор у рентгена, где был подоконник, и звонила матери в область. Подоконник был холодный, и она садилась на него боком, и это было единственное место в поликлинике, где её не видели. Она звонила и говорила: «Как ты?» Мать говорила: «Нормально».

Потом они говорили двадцать минут ни о чём, и она смотрела в окно на трансформаторную будку и на голубей.

Иногда мать говорила: «Ты бы приехала». Она говорила: «Приеду». И обе знали, что это значит «не скоро».

Один раз мать сказала: «Ты бы отдохнула». Она засмеялась и сказала: «Ага». Мать помолчала и сказала: «Я не шучу». И повесила трубку первая, как всегда.

Мать говорила про давление, про соседку, про то, что в магазин далеко. Она слушала и говорила: «Ага. Ага. Хорошо. Я приеду».

Приезжала она раз в два месяца, на один день: утром туда, вечером обратно. В этот день она не работала и не отдыхала — она ехала. Автобус уходил в семь десять, и она вставала

в пять, чтобы успеть на него, и это был единственный день в месяце, когда она вставала раньше будильника.

Обратно она брала сумку с банками — мать складывала варенье, огурцы, творог в тряпочке, — и сумка была тяжёлая, и в автобусе её приходилось ставить в ноги и придерживать коленом. Один раз она забыла сумку на остановке. Спохватилась через минуту, выскочила, и сумка стояла на скамейке, и никто её не взял.

Она тогда села на скамейку рядом и просидела так, пока не подошёл следующий автобус. Мать встречала её у калитки и говорила: «Ты похудела». Она говорила: «Это пальто».

Потом они шли в дом, и мать сразу начинала говорить, и говорила без остановки: про давление, про соседку, про то, что в магазин далеко, про то, что печку надо перекладывать. Она слушала. Иногда вставляла «ага». Один раз она заснула на стуле, сидя, с чашкой в руках, и мать замолчала и накрыла её пледом.

Она проснулась через сорок минут оттого, что было тихо. Мать сидела напротив и смотрела на неё.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего, — сказала мать. — Смотрю.

И больше ничего не сказала, и они пили чай в тишине, и это был лучший час за весь год. Обратно она ехала в шесть, в автобусе с жёлтыми фонарями, и держала сумку с банками на коленях, и думала, что надо приезжать чаще. И знала, что не приедет раньше чем через два месяца.

Она не знала, когда приедет. Домой она приходила в половине восьмого, если не заходила в магазин. Магазин был почти всегда.

Магазин был у дома, назывался «Продукты», и в нём работала Галя, которая знала её двадцать лет и всегда говорила: «Как всегда?» Она говорила: «Как всегда». И Галя собирала: хлеб, молоко, масло, что-нибудь к чаю.

Один раз Галя сказала: «А вы всё одна ходите». Она сказала: «Я не одна, у меня сумка». Галя засмеялась.

Дома она мыла посуду, ставила стирку, проверяла у дочери тетради и гладила, если было что гладить. Муж засыпал в кресле перед телевизором, и она будила его в одиннадцать, и он шёл спать, и она оставалась ещё на полчаса — доделать. Тетрадь по геометрии она проверяла каждый вечер и каждый вечер не понимала, почему она не сдана.

Дочь говорила: «Забыла». Она говорила: «Положи в сумку сейчас». Дочь кладла.

На следующий день тетрадь оставалась дома.

Так было четыре раза за февраль, и на пятый она сказала: «Ты это нарочно». Дочь сказала: «Нет». И заплакала, и ушла, и это было непонятно, потому что тетрадь была не про слёзы.

Она потом сидела на кухне и думала, что не знает, как разговаривать с человеком, который плачет из-за тетради. Будильник она ставила на пять сорок и ложилась. Ложилась она в половине двенадцатого. Перед сном проверяла, выключен ли газ, закрыта ли дверь, и стояла у двери дочери и слушала,

дышит ли.

Спала она крепко и без снов, и это она тоже считала хорошим качеством. Один раз, в марте, она легла в одиннадцать и проснулась в двадцать минут шестого, как всегда, и лежала, и думала, что если бы легла в десять, то всё равно проснулась бы в двадцать минут шестого. Тогда получалось, что двадцать минут — это не время до будильника. Это время, которое у неё всегда есть, сколько бы она ни спала.

Она не знала, радоваться этому или нет. В феврале был вторник, когда она проснулась и не поняла, какой сегодня день. Она лежала и смотрела в трещину на потолке и перебирала: понедельник был вчера, значит, сегодня вторник. Но вторник ли.

Она взяла телефон и посмотрела. Вторник. Тогда она подумала, что в этом нет ничего страшного, и что так бывает у всех.

И ещё подумала, что не помнит, что было в прошлый вторник. И в позапрошлый. Она попробовала вспомнить.

В прошлый вторник был дождь. Или не дождь.

В позапрошлый — приходила комиссия, и она подписывала акт, и акт был на двух листах.

Дальше было пусто. Не темно, а пусто — как будто страницу вырвали и оставили корешок. Она лежала и думала, что если так пойдёт дальше, то она не вспомнит и этот вторник. И тогда получится, что жизнь идёт, а вспомнить из неё нечего.

В марте дочь вышла на кухню в половине шестого — попить воды — и увидела её. Она сидела на табуретке в темноте, в халате, и не включала свет.

— Мам, ты чего?

— Ничего. Сижу.

— Ты чего в темноте?

— Свет не нужен.

Дочь налила воды и стояла, пила и смотрела на неё.

— Мам.

— Что.

— Ты нормально себя чувствуешь?

— Нормально.

— Я не про это. — Дочь поставила стакан. — Я про то, что ты сидишь в темноте в полшестого.

Она сказала:

— Я не сижу. Я уже встала.

Дочь посмотрела на неё и не стала спорить. Это было хуже, чем если бы спорила.

— Ты чего не спишь-то?

— Проснулась.

— И сидишь?

— И сижу.

Дочь помолчала.

— Странно ты отдыхаешь, — сказала она.

И ушла. В апреле дочь сказала, что в школе будет спектакль и что он в шесть.

— Я постараюсь.

— Ты всегда так говоришь.

— Я приду.

Она пришла в семь, когда всё кончилось, и дочь сказала: «Ничего». И это было хуже.

Дома она спросила:

— Как всё прошло?

— Нормально.

— А ты кого играла?

— Никого. Я свет ставила.

Она сказала: «Ну, свет — это тоже важно». Дочь сказала: «Ага». И ушла в свою комнату, и дверь закрыла не сразу, а постояла с рукой на ручке.

Она потом сидела на кухне и думала, что можно было уйти в пять. Что в регистратуре в пять уходят все. Что ей никто не запрещал.

И что она не ушла не потому, что не могла, а потому, что не подумала. Она тогда решила, что двадцать минут надо тратить с пользой. На следующее утро она не стала лежать. Она встала в пять двадцать, включила свет и села писать список: что купить, кому позвонить, что сделать.

Список получился на двадцать три пункта, и она успела написать его весь до звонка будильника. Потом она посмотрела на него и поняла, что теперь у неё на двадцать минут больше работы и на двадцать минут меньше лежания. Она порвала список и выбросила.

Порвала она его на четыре части и выбросила в ведро, и потом весь день вспоминала пункты. К вечеру она восстановила почти все, и это было хуже, чем если бы список остался: теперь он был у неё в голове, и оттуда его нельзя было выбросить. Она тогда поняла, что двадцать три пункта — это не список дел. Это то, что она и так носила, только раньше оно лежало ровно, а теперь встало в столбик.

Потом она поставила будильник на шесть. Неделю она спала лишние двадцать минут, и это оказалось хуже. Она вставала в шесть, и день начинался сразу, без промежутка, и к обеду она уже чувствовала то, что обычно чувствовала к вечеру.

На седьмой день она поставила будильник обратно на пять сорок.

Муж заметил:

— Ты опять рано встаёшь.

— Опять.

— А чего?

Она сказала:

— Мне так легче.

Он сказал:

— Ну, легче — вставай.

И это была вся помощь, которую он мог ей оказать, и она это понимала. В апреле она перестала задёргивать занавеску. Раньше она закрывала её на ночь, потому что фонарь во дворе светил в окно.

Теперь оставляла открытой.

В двадцать минут шестого в комнате было уже не совсем темно. Небо за окном было серое, потом синее, потом серое светлее, и по нему шли облака, и облака были разные каждый день. Она лежала и смотрела не в трещину, а в окно.

Иногда она вставала и подходила к окну, и стояла босиком на холодном полу, и смотрела во двор, где дворник уже чистил дорожку. Дворника звали Гриша, ему было шестьдесят девять, и он чистил дорожку каждое утро, в любую погоду, потому что ему платили за это четыре тысячи. Один раз он поднял голову и увидел её в окне. Он кивнул. Она кивнула.

С тех пор они здоровались так каждое утро, и это было единственное, что случалось в эти двадцать минут. Она думала: если она не подойдёт к окну, он, наверное, решит, что она заболела. И потом думала, что он не решит ничего, потому что у него своих дел хватает.

На следующее утро она подошла к окну. Один раз она налила себе чаю и принесла его в комнату, и пила, сидя на кровати, и чай остывал, и она его допивала холодным. Будильник стоит на пять сорок, и она просыпается в двадцать минут шестого — сама, без звонка.

В декабре она заболела. Температура была тридцать восемь два, и муж сказал: «Лежи», и она легла. Она пролежала до девяти и встала. Сделала бутерброды, проводила, помыла посуду.

Потом села на табуретку в прихожей и сидела минут два-

дцать, потому что идти было некуда.

Муж вернулся в обед — он взял отгул — и сказал:

— Ты чего встала?

— Надо.

— Что надо?

Она подумала и не нашла что. Сказала:

— Всё.

Он покачал головой и пошёл на кухню ставить чайник, и она слышала, как он там гремит, и не пошла помогать, и это было в тот день самым трудным. Она по-прежнему не помнит, что было в прошлый вторник, и по-прежнему не знает, когда поедет к матери. Но теперь она знает, что эти двадцать минут — не отдых и не подготовка ко дню. Это двадцать минут, в которые от неё ничего не требуется.

Занавеску она больше не задёргивает. И не собирается.

Кофе, который остыл

Термос был большой, на пять литров, с пластмассовой ручкой и вмятиной на боку. Вмятину он сделал сам в две тысячи одиннадцатом, когда уронил термос с подножки автобуса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.